



С. А. Гончаров

**НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ: СУДЬБА ПИСАТЕЛЯ
ИЛИ «ТЯЖКАЯ ИСТОРИЯ НЕПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ»**

Судьба писателя Николая Гоголя и путь его творческого наследия сквозь два столетия кажутся благополучно последовательным событийным рядом из динамической истории классической литературы. Правда, то место, которое занимает Гоголь в череде русских гениев, не становится по прошествии лет локусом историко-архивных смыслов и мемориального почитания. Гоголь всегда оказывался необыкновенно современным художником в каждой эпохе, соответствовал именно ей, ее устремлениям, идеям, надеждам и разочарованиям. И каждая эпоха русской жизни сказала свое слово о Гоголе — ясное и актуальное для нее самой, одновременно емкое, выходящее за пределы размышлений только о творчестве писателя или о его времени. О Гоголе говорили и спорили всегда: и современники, с их спонтанными реакциями, с острой борьбой школ и партий, кружков и амбиций, непосредственно наблюдавшие драму писателя, мучительно пытавшегося соединить творчество и религию, искусство и Церковь, веру и художественные интуиции; и последующие поколения повзрослевших русских мыслителей, думавших о месте и роли Гоголя в русской культуре, о притягивающей загадочности его личности, о творчестве писателя и его «мастерстве», а также — и о прошлом опыте восприятия и оценок. И никогда высказанное или даже мыслимое о Гоголе не было безучастно нейтрально, потому что он каким-то образом чрезвычайно глубоко задевал всех и каждого, кто обращался к нему: именно с ним ассоциировали все вечные проблемы русской жизни, особенности национальной физиономии

и судьбы России¹. Считали, что «в нем есть именно пророчество о том, как должно жить и действовать русским людям»².

Может быть, потому, что в Гоголя можно смотреть как в зеркало и, всматриваясь, неожиданно и пронзительно открывать в себе не только свет, видеть, что и человек и жизнь спустя сто и двести лет — удивительно гоголевские³, ощущать призрачность и демонизм повседневности, ее гротескную фантастичность, испытывать действие универсальных законов, которым подвержено существование обычного человека, переживать все коллизии столкновения с гоголевским злом «пошлости», видеть, что знаменитое «хотели как лучше, а получилось как всегда» есть всего лишь вариация обозначенного Гоголем закона — «Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот» («Невский проспект»). Перефразируя слова Гоголя о Пушкине, можно сказать, что Пушкин — это наше все, как оно будет в своем развитии через двести лет, а Гоголь — наше все, как оно есть сейчас.

И современники, и особенно последующие эпохи обостренно всматривались и в личность писателя, и в его творчество, пытаясь не только понять, но и приспособить мир этого действи-

¹ Андрей Белый в статье «Гоголь» писал: «Непостижимо, неестественно связан с Россией Гоголь, быть может, более всех писателей русских, и не с прошлой вовсе Россией он связан, а с Россией сегодняшнего и еще более завтрашнего дня». Н. Бердяев вспоминает о Гоголе уже в связи с революционной Россией в работе «Духи русской революции»: «Нет уже старого самодержавия, а самовластье по-прежнему царит на Руси, по-прежнему нет уважения к человеку, к человеческому достоинству, к человеческим правам. Нет уже старого самодержавия, нет старого чиновничества, старой полиции, а взятка по-прежнему является устоем русской жизни, ее основной конституцией. Взятка расцвела еще больше, чем когда-либо. <...> Сцены из Гоголя разыгрываются на каждом шагу...»

² *Зеньковский В.* Русские мыслители и Европа / Сост. П. В. Алексеева. М., 1997. С. 264.

³ Емко и выразительно сформулировал Н. Бердяев актуальность гоголевских «открытий» для понимания сущности «русской стихии», отчетливо проявившей себя уже в современной философу исторической ситуации: «Изогнание бытия правит революцией. Все призрачно. Призрачны все партии, призрачны все власти, призрачны все герои революции. Нигде нельзя нащупать твердого бытия, нигде нельзя увидеть ясного человеческого лика. Эта призрачность, эта неонтологичность родилась от лживости. Гоголь раскрыл ее в русской стихии» («Гоголь в русской революции»).

тельно загадочного человека, оставившего в русской культуре свой «гоголевский период», который не завершился ни в XIX, ни в XX веке. Гоголь в серии «Русский Путь: pro et contra» готовится в двух томах, но и объем двухтомника оказывается несопоставим с действительно огромным корпусом высказываний о нем — от современников писателя до нашего времени⁴. Это друзья и «враги», критики и публицисты, философы и мыслители, богословы и ученые разных областей знания, государственные деятели и чиновники, журналисты и писатели и т. д. Такого широчайшего спектра отзывов, такой лично обостренной, творчески-напряженной и социально-острой реакции людей разных мировоззрений, разных профессиональных и сословных принадлежностей, разных социокультурных, философских и проч. идентичностей и разных эпох, пожалуй, не знает творческая судьба ни одного писателя. Один из «разоблачителей» и «судей» Гоголя публицист Н. Герсеванов так описывал в 1861 г. исключительность писателя (обвиняя его в якобы незаслуженном успехе): «Не исключая Карамзина и Пушкина, пользовавшихся в свое время огромным авторитетом, ни один писатель, не только в России, но и в древних и новых литературах, не пользовался такою популярностью, как Гоголь. Прошло восемь лет со дня его смерти, и слава его не только не упала, напротив — растет со дня на день <...> молодое поколение знает наизусть целыя тирады

⁴ Перед составителем встала сложная задача — отобрать и вместить в ограниченный объем первого, а затем второго тома материал, который, в некотором приближении, даст читателю возможность почувствовать путь «pro et contra» Гоголя в культуре, его транзитный характер, пронзающий время и не имеющий конечной остановки. Здесь было важно представить писателя в контексте своеобразного непрерывного диалога, который ведут многочисленные участники, высказывая различные точки зрения. Некоторые имена и тексты совпадают с уже представленными в других изданиях (см., напр., замечательную антологию, составленную С. Г. Бочаровым, «Гоголь в русской критике» — М., 2008), а некоторых, напротив, нет, и по той же причине — они широко известны и доступны для знакомства. Первый том — рецензия Гоголя современниками и философско-эстетической мыслью конца XIX–XX вв. завершается разделом, связанным с восприятием и трактовкой смерти Гоголя. Второй том готовится к изданию, он предлагает читателю разные аспекты «борьбы за Гоголя» научных школ и идеологий (преимущественно уже первой половины XX в.) и завершается разделом «Современный Гоголь» с различными подходами и способами интерпретации творчества писателя современными отечественными и зарубежными учеными.

из «Мертвых Душ»; литераторы всех партий, после смерти его врагов: Булгарина и Сеньковского, — благоговейно пред ним. Он слышит патриотом, философом, мудрецом, поэтом, христианином, чуть не апостолом; он глава так называемой натуральной школы; одним словом, по известности и влиянию на потомство, только Вольтер может с ним спорить»⁵.

В целом достаточно точная характеристика рецепции писателя этого времени. Конец XIX — начала XX в. добавит в титулатуру писателя еще ряд знаковых формул — «русский Паскаль» (Л. Толстой), «проповедник» и «пророк православной культуры» (В. Зеньковский), «учитель жизни» и «великий учитель России», «гениальный первомученик», «подвижник», «страдалец» и т. д. Идеи, которые высказал в XIX в. Феодор Бухарев о Гоголе как писателе-христианине, придав значимость его творчеству в контексте всего христианства, диалога Запада и Востока, Европы и России, в начале XX столетия станут предметом активной рефлексии публицистов, духовных лиц и мыслителей, определяя целое направление религиозно-философского исследования творчества и личности писателя.

Особая роль в понимании и истолковании Гоголя и его творческого наследия принадлежит той исторической эпохе, которую принято называть Серебряным веком. XX век добавит ряд блестящих открытий: именно теперь Гоголь предстал многомерным и многосмысленным явлением русской культуры. Так начнется процесс постижения «таинственного гиганта» (Д. Чижевский), в котором «наивысшее напряжение противоположностей» (К. Мочульский) станет предметом философско-эстетической и идеологической интерпретации. Писатель оказался необыкновенно близок религиозно-философским и нравственно-эстетическим исканиям русской мысли конца XIX — начала XX в. и пространствам ее глобальных идей. Одновременно Гоголь необыкновенным образом совпал с Серебряным веком и во времени. В начале XX века Россия празднует гоголевские юбилеи. В русской культуре этот феномен определился в дни Пушкинского юбилея 1880 г., с тех пор юбилеи стали в истории русских писателей важными этапами в их судьбе. Магия круглых дат применила понятие «юбилей» не только к рождению, но и смерти,

⁵ Герсеванов Н. Гоголь перед судом обличительной литературы. Одесса, 1861. С. 5–6.

уравнивая их в торжестве праздника. Круглые даты — смерти (1902 г.) и рождения (1909 г.) Гоголя, стали не только торжеством, но и поворотным моментом в его восприятии и оценке⁶. Это звездное десятилетие русской философско-эстетической мысли заложит основу исследования Гоголя и как художника слова (статьи И. Анненского, А. Белого, С. Шамбинаго и др.), и как мыслителя (ранние статьи В. Зеньковского, Е. Трубецкого, М. Гершензона), и как подвижника и духовного строителя, как «писателя-борца» со злом (Д. Мережковский). Серебряный век затем продлится в филологических штудиях формалистов, в философских рефлексиях мыслителей русской эмиграции (Ю. Мочульский, Г. Флоровский, В. Зеньковский и др.), для которых Гоголь и его творчество станут одним из ярких выразителей судеб России и ее вечных проблем.

Юбилей вернул творчество Гоголя не просто в область критики, а в мощное поле философско-эстетической мысли интеллигентов и интеллектуалов эпохи Серебряного века. Это рубеж преодоления, хотя и временный (до советского периода), притягательного обаяния и инерции оценок В. Белинского, Н. Чернышевского, А. Герцена. Это годы открытия нового Гоголя и реабилитация его позднего творчества. Гоголя увидели не только как главу реалистического направления, но и как писателя-мистика и символиста. При этом, как писал В. Зеньковский, «улетучивается как раз то, что казалось наиболее бесспорным у Гоголя: его реализм»⁷. С этой эпохи началось исследование Гоголя, и ее философско-эстетическая мысль увидела в Гоголе фигуру необыкновенного масштаба и значимости для всей русской культуры, для судеб русской литературы и общественной мысли.

Д. Мережковский в своем замечательном дискурсе о Гоголе один из первых развернул обширную концепцию двойственности писателя, дал версию его трагедии и реабилитировал его позднее творчество как логичный поступок писателя-борца со злом: «Пушкин зовет прочь из битвы; Гоголь — в битву. Это и есть, конечно, битва с вечным злом за вечное благо, последняя битва человека с чертом. Этот “браннолюбивый дух” в Гоголе — нечто

⁶ Следует отметить, что «круглые» даты сделали Гоголя писателем массового чтения — только в 1902 г. были изданы различные его произведения общим тиражом более 2 млн экземпляров.

⁷ *Зеньковский В.* Указ соч. С. 155.

столь же первозданное, истинное, как мирный дух в Пушкине; тут нет у Гоголя никакой измены самому себе, никакого отречения: он столь же верен природе своей, как и Пушкин». Мережковский выразительно сформулировал ключевую проблему творчества Гоголя — проблему зла и ее сути: «Гоголь первый увидел невидимое и самое страшное, вечное зло не в трагедии, а в отсутствии всего трагического, не в силе, а в бессилье, не в безумных крайностях, а в слишком благоразумной середине, не в остроте и глубине, а в тупости и плоскости, пошлости всех человеческих чувств и мыслей, не в самом великом, а в самом малом. Гоголь сделал для нравственных измерений то же, что Лейбниц для математики, — открыл как бы *дифференциальное исчисление*, бесконечно великое значение бесконечно малых величин добра и зла».

Серебряный век сказал наиболее значительные слова о Гоголе, которые затем будут развиваться философско-эстетической критикой в течение XX в. Своеобразный вывод выразительно сформулировал К. Мочульский в работе «Духовный путь Гоголя»: «В нравственной области Гоголь был гениально одарен; ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии, сдвинуть ее с пути Пушкина на путь Достоевского. Все черты, характеризующие “великую русскую литературу”, ставшую мировой, были намечены Гоголем: ее религиозно-нравственный строй, ее гражданственность и общественность, ее боевой и практический характер, ее пророческий пафос и мессианство. С Гоголя начинается широкая дорога, мировые просторы. <...> Своим кликушеством, своим юродством, своим “священным безумием” он разбил гармонию классицизма, нарушил эстетическое равновесие, чудом достигнутое Пушкиным, все смешал, спутал, замутил; подхватил вихрем русскую литературу и помчал ее к неведомым далям. <...> После надрывного “душевного вопля” Гоголя в русской литературе стали уже невозможны “звуки сладкие и молитвы”. От Гоголя все “ночное сознание” нашей словесности: нигилизм Толстого, бездны Достоевского, бунт Розанова. <...> Гоголь первый “больной” нашей литературы, первый мученик ее». Все последующие рецепции Гоголя вплоть до настоящего времени будут развиваться, и в приятии, и в отталкивании от идей, блестяще сформулированных философско-эстетической критикой XX в. Серебряный век задаст на столетие вперед, наряду с целой эпохой «советского» идеологизированного Гоголя, мощный импульс исследованиям российских и зарубеж-

ных ученых. Именно с этого «крыла» восприятия Гоголь начнет активно входить в мировое научно-культурное пространство и творческое сознание как художник слова, который авангардно преобразовал эстетику и поэтику новой литературы, как писатель-жизнестроитель и мыслитель.

* * *

Эстетическая и ценностно-смысловая актуальность творчества Гоголя, да и сама личность писателя стали настоящим полем битвы за него разных сил. Еще при жизни за него боролись, его делили — писатели и критики, идеологи «партий» и школ, духовные лица, просто знакомые, друзья и близкие⁸. Чаще всего Гоголя пытались приспособить к декларируемым «нормам» и «правилам», измерить по себе, сделать «знаменем», иллюстрацией, средством или аргументом в сражениях эстетических пристрастий и идеологических систем. Как заметил П. Вяземский, оценивая полемическую атмосферу 1840-х гг., всем участникам тогдашних споров «казалось, будто мы все имеем какое-то крепостное право над ним». И менее всего — стремились понять самого Гоголя.

Начиная с полемик современников, — славянофилов, западников и революционно-демократической критики, — затем в рамках религиозно-философского дискурса конца XIX — нач. XX в. и особенно советского идеологического XX в. писателя пытались «выпрямить» и сделать выразителем одной из тенденций — сатирической или религиозно-мистической, разделить на художника и моралиста, сделать из него двух, трех разных Гоголей, противопоставив их друг другу. Гоголя превратили в символ борьбы и противостояния — демократы боролись за Гоголя-реалиста и реальное направление в искусстве, идеализм присваивал Гоголя себе, открывал в нем метафизические глубины мистика и символиста. Он почти всегда оказывался «между» — между Россией/Малороссией и за границей, Москвой и Петербургом, славянофилами и западниками, реальным и идеальным, между искусством и религией, моралью и эстетикой и т. д. Но ни с чем не совпадал полностью в поисках многосторонности и синтеза,

⁸ Об этом написано много и очень хорошо в фундаментальных книгах И. Золотусского и Ю. Манна.

ни к кому не примыкал, нигде не состоял, старался лавировать между разными силами. Это добавляло напряжения. В 1844 г. у Гоголя вырвалось: «Все эти славянисты и европисты, — или же староверы и нововеры, или же восточники и западники, а что они в самом деле, не умею сказать, потому что покамест они мне кажутся только карикатурами на то, чем хотят быть, — все они говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу»⁹. У него был собственный путь, которым не могли управлять «партии», во всяком случае определялся этот путь не на земле. Реалист и бытописатель-сатирик, обличитель крепостного строя и символист-мистик, христианин-учитель жизни. Два крыла Гоголя, два полярных направления проходят через всю историю его восприятия и толкования. Но и внутри этих направлений XX век рождает целый спектр разного видения писателя и его творчества. Каждая эпоха открывала «своего» Гоголя, и говоря о нем говорила о себе.

В общей системе восприятий и стремлений к пониманию творчества писателя самым напряженным «узлом» всегда была сама личность творца. Гоголь — человек закрытый и неоднозначный, о чем говорили уже его современники: многие из них отмечали скрытность писателя, его стремление «показать себя в некоторой таинственной перспективе» (П. В. Анненков). Личность писателя, проявленная в облике, стиле поведения, мотивациях поступков, в склонности к мистификациям двоилась в восприятии даже самых близких людей, что и создавало вокруг писателя особую атмосферу слухов и домыслов. Гоголь жаловался на непонимание, но и сам давал основания для этого. Быть рядом с Гоголем было весьма непросто. Не случайно С. Т. Аксаков в своих воспоминаниях отношения Гоголя с дружеским кругом определил как «тяжкую историю неполного понимания» и наградил его целым рядом полярных определений: от «сумасшедшего» до «святого» и «истинного мученика нашего времени». В этой истории непонимания, в том числе и взаимного, много драматичного и действительно непонятного, разбираться в ней по письмам Гоголя и документальным свидетельствам современников нужно с боль-

⁹ Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: [В 14 т.][М.; Л.]: Изд-во АН СССР, 1937–1952. Т. 8. Статьи. — 1952. С. 262. (далее — указание тома и страницы в тексте статьи).

шой осторожностью, учитывая контексты, пристрастия, амбиции и обстоятельства. Вся непростая нить отношений Гоголя с современниками видна уже из «Истории моего знакомства с Гоголем» С. Т. Аксакова, которую также следует читать именно сквозь призму этих особых обстоятельств. Даже с близкими людьми (с Аксаковыми, М. Погодиным, А. Ивановым и др.) у Гоголя сложились весьма непростые отношения: его реакции и поступки были не всегда понятны даже им, а ровные и равные отношения складывались редко, так как он сам старался определять и даже диктовать их правила. Но помимо личных отношений были и отношения «партий», а у них — свои правила, свои ожидания и требования к Гоголю, которые усилились в 1840-е гг. в период обостренных битв западников и славянофилов. Каждой стороне хотелось владеть Гоголем.

Восприятие Гоголя открывает его как самое, пожалуй, загадочное и парадоксально-странное явление в российской культуре и ее ментальной истории. Не случайно Н. Бердяев, подводя своеобразные итоги истолкования личности Гоголя, назвал его «самым загадочным русским писателем», художником «загадочнее Достоевского» («Гоголь в русской революции»). Вся «жизнь Гоголя полна таинственного смысла», — писал К. Мочульский, а его душа — «сложная, темная, предельно одинокая и несчастная; душа патетическая и пророческая; душа, претерпевшая нечеловеческие испытания и пришедшая ко Христу». И это — не привычные метафоры, обычно прилагаемые к крупным писателям-классикам. Практически вся философско-эстетическая критика XX в. будет рассуждать на эту тему, объясняя природу этой загадочности дуализмом Гоголя, его противоречивостью, двойственностью и т. п.

Гоголь в уже устоявшемся пространстве культурных смыслов и сложившемся «литературном поле» явил себя как новый тип творческой личности, пока еще не знакомый русской культуре нового времени, открывающий ряд ее жизнестроителей. Жизнетворческий потенциал такой личности был действительно новым по четкой оформленности своей писательской миссии, по пониманию роли искусства, по отношению к жизни и задачам ее преобразования, наконец, по своему психологическому складу и реакциям, по новой семиотике поведения. Гротескная телесность жизни и ее карнавалльно-гротескный низ соединялись в Гоголе с напряженным порывом духа к творчеству как религиозно-мистическому действию и литургическому служению. В одном

из ранних писем (из Любека, авг. 13, 1829 г.) он напишет о своих размышлениях, которые будут сопровождать его до самой смерти: «Часто я думаю о себе: зачем Бог, создав сердце, может, единственное, по крайней мере редкое в мире, чистую пламенеющую жаркую любовью ко всему высокому и прекрасному душу, зачем Он дал всему этому такую грубую оболочку? Зачем Он одел все это в такую *страшную* смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения?»

«Страшная смесь противоречий», соединенная с любовью «ко всему высокому и прекрасному», заставляет воспринимать личность писателя не только в бытовом плане или в категориях игрового поведения. Какие бы версии не выдвигались, следует учитывать, что Гоголь, как эхо века XVIII-го, стал явлением романтической культуры с ее тотальным дуализмом и об этом настойчиво писали многие мыслители XX века. Эта культура включает человека-творца в два измерения одновременно — земное, бытовое и метафизическое, что и определяет нетождественность Гоголя себе, противоречия в мотивациях и поведенческих стратегиях, странности и даже болезненную привязанность к дороге. Ведь это свойство романтического типа мироощущения и мироотношения, рифмующееся с древней страннической традицией — в движении и пути, в позиции «между» обретать свою субъектность и идентичность. Импульсы барочной пикарески и средневеково-романтической поэмы странствий, канонизировавших героев дороги, каждый из которых обладал своей противоречивостью, отзываются в Гоголе. Не случайно Е. Трубецкой в юбилейной речи «Гоголь и Россия» назовет его «писателем-странником и богоискателем», связывая эту особенность писателя с «необыкновенной подвижностью русского человека: чем меньше удовлетворяет его окружающая действительность, тем сильнее в нем влечение к беспредельному, тем больше манит его дальняя дорога».

XX век в полный голос заговорит и о двойственности Гоголя, и о его противоречивости, об амбивалентности (от Д. Мережковского до Д. Чижевского и современных исследователей), объясняя их происхождение разными причинами. В этом контексте следует учесть и то, что Гоголь представлял собой тип «пограничного» человека: в нем соединились и переплелись Средневековье и Новое время, малороссийская культура (в ней в свою очередь сошлись польский католицизм и низовая барочная культура, сотканная из причудливых сочетаний и парадоксальных сближений) и им-

перская, великорусская, с парадной броскостью, насыщенной визуальностью и глобальными притязаниями. Прошедший хорошую актерскую школу в гимназических спектаклях в Нежине Гоголь вобрал в себя и игровое начало, он был, вероятно, блестящим актером и тонким психологом. Окруженный еще при жизни плотной завесой слухов, своеобразным культом почитания, авторитета и даже послушания, он сам был активным строителем собственной бытовой и культурной мифологии. Гоголь очень рано заговорил о своей загадочности. В школьном письме к матери из Нежина (1-го марта 1828 г.) он напишет, как будто предвосхищая действительные реакции современников: «Правда, я почитаюсь загадкой для всех; никто не разгадал меня совершенно. У вас почитают меня своим равным, каким-то несносным педантом, думающим, что он умнее всех, что он создан на другой лад от людей. Верите ли, что я внутренне сам смеялся над собою вместе с вами? Здесь меня называют смиренником, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом — угрюмый, задумчивый, неотесанный и проч., в третьем — болтлив и докучлив до чрезвычайности, у иных умен, у других — глуп». Судя по всему, ему самому нравилось быть загадочным и таинственным, маска романтического героя (как и другие роли) срасталась с сутью реальной личности и ее отражала. Гоголь сам содействовал рождению собственной авторской мифологии, как актер и режиссер одновременно, как мистификатор, живущий в нескольких мирах. Но за этим просматриваются более глубокие основания жизнотворчества и нового искусства, нежели просто игровой тип реализации личности. Это и романтическое раздвоение между мечтой и действительностью, и различные способы интроспекции, познания себя и поиски идентичности, различные способы построения отношений не только с землей и небом, но и с самим искусством, словом, которое должно было, по мысли Гоголя, овладеть миром.

Для начала XX в., испытывающему интерес к культуре биографизма и ее развивающий, Гоголь как личность представлял ценнейший опыт. Многие дискурсы мыслителей XX в. начинаются с рождения и детства писателя и охватывают всю жизнь до самой смерти. Такой подход позволил создать целостные версии судьбы и творчества писателя. Именно поэтому сегодня знакомство с работами Д. Мережковского или К. Мочульского и др. доставляет читателю колоссальное удовольствие.

Каждое произведение и каждый шаг писателя всегда вызывали пристальный интерес публики, но смерть Гоголя предельно обострила внимание к нему. В ней искали разгадку и ключ к личности и творчеству писателя. Она стала началом новых споров, которые еще более разделили читателей и адептов различных школ и направлений в восприятии и толковании судьбы и трагического финала жизни художника. Болезнь и смерть, творчество и отречение, религия и искусство, причины и обстоятельства, судьба писателя и творческий путь — вот далеко неполный круг вопросов, поставленный тогда современниками и до сих пор активно обсуждаемый в связи с Гоголем. «Необыкновенный человек был он при жизни; необыкновенна была и его кончина. Над такими явлениями жизни и смерти призадумывается и врач, и психолог, и всякий мыслящий человек», — писал современник Гоголя московский врач А. Т. Тарасенков. А спустя чуть более ста лет после смерти Гоголя русский мыслитель В. Зеньковский, начинавший, кстати, свой путь с магистерской диссертации по психологии, скажет, что трагический финал жизни писателя «вошел в историю русской культуры как некая пророческая, таинственная страница русского духа»¹⁰. Вопрос об этой «таинственной странице» — о болезни и смерти Гоголя, не обошел ни один мыслитель XX в., мы найдем его самые различные концептуализации практически у каждого из авторов, представленных в разделе философско-эстетической критики. Тем не менее представляется важным некоторые специальные работы выделить в отдельный раздел тома.

На протяжении более полутора веков сформировалась обширная околонаучная и бытовая мифология смерти писателя, которая будоражит сознание обывателя мистической притягательностью тайны смерти и фантастичностью деталей, порой предстающих как тексты, созданные совершенно в духе гоголевских сочинений. Некоторые точки зрения, наиболее представительные, помещены в завершающий том раздел. Здесь сошлась современность Гоголя (А. Тарасенков), зарождающаяся в России новая наука психология и психиатрия (Н. Баженов, В. Чиж, Я. Каплан, И. Ермаков) и современный взгляд авторитетных исследователей творчества Гоголя — В. Воропаева и В. Мильдона. Эти точки зрения интересны и тем, что представляют каждую эпоху в специфике своего развития. Так, например, развитие психологии и психиатрии в России,

¹⁰ Зеньковский В. Русские мыслители и Европа. М., 1997. С. 153.

связанное с общеевропейским процессом, внесло в культуру проблему нормы и патологии, а ощущение могущества нового знания давало иллюзию достоверного и подлинного проникновения в тайну души человека и тайну творчества.

В творчестве гениальных людей наиболее провокационно ощущение границы нормы. «Больной» Гоголь стал благодатным материалом для оттачивания метода «здоровыми» врачами, которых сегодня простой читатель может упрекнуть в маниакальном стремлении все сплошь диагностировать как «болезнь», в том числе и Гоголя и его персонажей. Особенно радикален в этом В. Ф. Чиж: все, что отклоняется от привычного в его понимании, является материалом для диагноза, который он ставит без всяких сомнений. Однако не следует столь однозначно и иронично перечеркивать эти опыты: они заслуживают своего внимания и содержат наряду с прямолинейной диагностикой целый ряд замечаний, заставляющих задуматься над тайной творчества и гоголевского гения. Среди этих исследователей есть и такие талантливые интерпретаторы как, например, последователь З. Фрейда в России — профессор И. Ермаков, к работам которого и философско-эстетическая критика, советское и постсоветское литературоведение относятся с большим скепсисом и иронией, а они демонстрируют между тем первые опыты междисциплинарного подхода к изучению литературы и литературного творчества. Современный взгляд на проблему тоже по-своему категоричный, но формируется он уже на иных позициях и в иной творческой логике культур-философского и эстетического сознания, что дает возможность продолжения диалога. Все это свидетельствует лишний раз о том, что в судьбе Гоголя нет тем однозначных и закрытых своей окончательной ясностью.

* * *

Гоголь, совсем молодым и поразительно зрелым, стремительно ворвался на литературный Олимп и за очень короткое время еще при жизни Пушкина¹¹ был объявлен «главою литературы, главою поэтов» авторитетнейшим критиком В. Белинским. От такого признания

¹¹ О двусмысленности сложившейся ситуации см.: *Бочаров С. Г.* Пути гоголевской критики // *Гоголь в русской критике: Антология.* М., 2008. С. 3–4.

и оценки могла закружиться голова не только у молодого человека, и начинающий автор-провинциал пребывал в состоянии эйфории. Конечно, это тоже один из «зигзагов» (В. Зеньковский) в жизни писателя, еще одна загадка — как могло случиться, что Гоголь, приехавший из далекой Малороссии, так быстро вошел в элитные круги русского общества? Как молодой провинциал-малоросс, человек иного круга, воспитания и манер практически мгновенно завоевал расположение именитых литераторов — Плетнева, Жуковского, познакомился с Пушкиным и получил его поддержку? Эти вопросы задевали не только современников, но и более поздние восприятия Гоголя избилуют крайностями в истолковании его «хитрости» и прагматизма, умелого использования знакомств и друзей (подобно мнению Герсеванова или психиатра Чижана). Да, Гоголь, вероятно, был тонким психологом, хорошо чувствовал и понимал людей, быстро завоевывал и подчинял их себе. Это отмечали многие современники. Но способность эта в полной мере соединялась с его невероятным художественным дарованием: только оно могло открыть перед Гоголем путь к признанию.

На этом пути Гоголь прошел три основные творческие ступени, которые породили разные этапы «ответного», толкующего понимания, то есть восприятия и творчества, и самого творческого потенциала писателя. В начале пути это «Вечера на хуторе близ Диканьки», а затем «Миргород» и «Арабески», сделавшие Гоголя известным и признанным в избранных кругах петербургских и московских литераторов. Затем — «Ревизор» и «Мертвые души», расколовшие общество на два лагеря — сторонников и ядовитых оппонентов, увидевших в замахе Гоголя угрозу строю и клевету на Россию. И, наконец, это «Выбранные места из переписки с друзьями», вызвавшие самые разноречивые толки, но неожиданно объединившие многих и разных людей общим неприятием этого сочинения.

«Вечера» (1831–1832 гг.), принесшие первую известность Гоголю, критика приняла вполне сочувственно и дружелюбно. Мелкие придирки А. Царынного (А. Стороженко) в «Сыне отечества» и «Северном архиве», раздражение Н. Полевого перекрывали отзывы Н. Надеждина, О. Сомова и др., но самым главным отзывом оказалась, конечно же, реплика Пушкина, ставшая знаком высшего признания. Очень скоро при появлении других произведений — «Миргорода» и «Арабесок», у многих критиков-литераторов появлялись упреки Гоголю в излишних похвалах его таланту и необоснован-

ном тщеславии молодого автора (О. Сенковский, Н. Полевой и др.). От Гоголя хотели послушания, робкого ученичества и оглядок на авторитеты, хотели уравнивать его талант с творениями западных писателей средней руки, по-своему добротных, но иной эстетики и иного уровня дарования, таких, например, как Поль де Кок. Именно в этих параметрах снисходительно оценивал Гоголя О. Сенковский: «Судя по роду его таланта, это малороссийский Поль де Кок. Не должно думать, чтобы в этом сравнении заключалась малейшая укоризна: это искренняя и заслуженная похвала». Одновременно в Гоголе пытались видеть только автора легкого комического плана, своеобразного «пасичника»-балагура, развлекающего читателя незатейливым юмором, бытописателя, тяготеющего к малороссийскому колориту, по ходу пытаясь уличить его в этнографических неточностях. Несомненно, стереотип комического таланта и этнографического колориста Гоголя вступит в необычное соотношение с Гоголем-художником современности. Гоголь всегда все делал по своему усмотрению и шел независимым путем.

Сложные и неоднозначные отношения с читающей публикой возникли у Гоголя после «Вечеров» и «Миргорода», когда он переходит к собственно «петербургскому периоду» русской истории, к ближайшей современности и начинает прямо декларировать задачи искусства и своего творчества. Они все более связываются с идеей преобразования жизни и человека и ориентируются на христианскую учительную культуру, на те ее аспекты, которые вскрывают негативные стороны мира, призывают к человеку о воскрешении. «Ревизор», проблематика «Арабесок» (включая петербургские повести), затем «Мертвые души» фокусируют внимание на центральной проблеме — преобразении материального, его спиритуализации сакральным смыслом. Под воздействием этой проблематики активно оформляется своеобразие художественной антропологии Гоголя. Писатель все более определенно и уверенно пытается связать свои творения с религиозно-мистической традицией, что стало влиять на своеобразие его художественного языка. Это приводит к тому, что с середины 1830-х гг. возникают проблемы читательского восприятия и понимания его текстов, да и самой писательской личности: при этом возникает несогласованность авторского и читательского понимания, принципиальное различие их позиций восприятия.

Появление на свет комедии «Ревизор» переключило регистр восприятия Гоголя как писателя-юмориста, развлекающего

читателя веселостью и этнографическими деталями, в план «критика», «обличителя» и «клеветника» России. Комедия обозначила ощутимый сдвиг поэтической системы Гоголя, сдвиг, связанный с формированием писательской моральной философии. В пьесе недвусмысленно обозначена эсхатологическая идея суда, которая окрашивает религиозно-учительным светом поэтическую пластику комедийного мира, стремясь обратить зрителей к созерцанию собственных душевных недостатков¹². Однако религиозно-духовный смысл, который автор пытался донести до зрителей и читателей, не был замечен: все в пьесе было воспринято слишком конкретно и буквально — диалога с читателем и зрителем не получилось. Ответом на новое произведение стали насмешки, мелкие «грамматические» придирки, дискредитирующие разборы и прямые обвинения в клевете на Россию. Остро прозвучал голос Н. Полевого, указавшего, что «участок» Гоголя — «добродушная шутка, малороссийский *жарт* <...> в добродушном рассказе о Малороссии, в хитрой простоте взгляда на мир и людей г. Гоголь превосходит», а в «Ревизоре» он «устраняется от истинного пути». Позднее, в связи с «Мертвыми душами» Н. Полевой продолжит критику Гоголя, в которой между прочим прозвучат достаточно тонкие наблюдения над спецификой изображения «зла» в поэме. О. Сенковский демонстративно не заметил смысловых глубин «Ревизора» и по-прежнему видел в Гоголе только комического писателя («г. Гоголь наконец отыскал в “Ревизоре” своё природное назначение: его назначение — комедия»). Но были похвалы и ободрения (П. Вяземский и др.), которые однако для Гоголя имели слабое значение. «Грустно, когда видишь, в каком жалком

¹² Финал пьесы «скульптурно» оформлял идею, имеющую эмблематико-аллегорическое звучание. «Немая сцена» представляла зеркалом разоблаченных пороков и взывала к суду совести, соотносясь не только с предшествующим действием, но и во второй редакции с эпитафией, приобретающим особый смысл в религиозно-мистическом контексте. Так, например, у религиозного мистика XVII в. Якоба Беме, чьего в кругу русских мистиков конца XVIII — первой трети XIX в.: «Пред это зеркало да будут созваны мною все гордые, скупые, завистливые и гневные люди; здесь увидят они начало своей гордости, скупости, зависти и гнева, а также и исход и вечную награду» (*Беме Я.* Аврора, или Утренняя заря в восхождении. М., 1990. С. 171. Само изображение города как души ориентировало на один из популярных топов религиозно-мистической культуры, а «немая сцена» проецировалась на изображение Страшного суда в средневековом искусстве (см.: *Манн Ю.В.* Поэтика Гоголя. М., 1978. С. 242).

состоянии находится у нас писатель. <...> Сказать о плуте, что он плут, считается у них подрывом государственной машины» — писал Гоголь М. Погодину (15 мая 1836 г.); в письме к Щепкину: «Все против меня. Малейший призрак истины — и против тебя восстают, и не один человек, а *целые сословия*». Это начало принципиального расхождения писателя и читающей России, 1836 г. стал для писателя, по его словам, «великим переломом» — в осознании творчества, себя и России. Гоголь неудовлетворен реакцией и пониманием пьесы. Здесь остро проявилась главная проблема: буквальность восприятия всего, что ни напишет Гоголь, будет сопутствовать ему до конца жизни. Такое отношение к произведениям станет причиной мучительных отношений писателя не только с массовой читающей Россией, но и с самыми близкими ему людьми, с которыми он теперь будет общаться преимущественно из «прекрасного далека» — в 1836 г. «в раздраженном состоянии духа» Гоголь уезжает за границу.

Чтобы обозначить духовный смысл пьесы, Гоголю пришлось прибегнуть к автокомментарию. После «Ревизора» принцип интерпретации собственного творчества, автотолкования, герменевтического комментария входит в творческую практику писателя. Так Гоголь пытался корректировать понимание, что всякий раз только усложняло ситуацию и порождало новое непонимание и раздражение (как, например, в 1846 г. С. Т. Аксаков в письме к И. С. Аксакову: «Я требую также, чтобы не печатать “Предуведомления” к пятому изданию “Ревизора”: ибо все это с начала до конца чушь, дичь и нелепость»).

Созданная в «Ревизоре» проекция мирского текста в религиозный ряд, ориентация на читателя-христианина, а не на «нейтрального» светского человека, формировали и особые условия восприятия пьесы, которые до Гоголя были мало знакомы читающей публике и не входили в культурный опыт светской литературы. Знаменательно, что духовные лица — читатели Гоголя легко ощущали «духовный» смысл его произведений. Прежде всего следует вспомнить архимандрита Феодора Бухарева, оставившего глубокие и отнюдь не произвольные суждения о его произведениях. Так, например, по поводу петербургских повестей, высокий «духовный» смысл которых звучит приглушенно (особенно в «Носе»), он пишет: «Ваш даже “Нос” напомнил мне <...> что такое жизнь моя и чем я должен в жизни заниматься <...>. Беремся, напр., исправлять других, примериваем к этому делу тот

или другой ключ, а ключ этот <...> в истинном и уже готовом для нас раскрытии тайны нашего же “я”. Подобная мысль как будто сама собою приходит мне при чтении вашего “Носа”»¹³.

Уникальную, но в то же время знаменательную историю восприятия «Ревизора» уже во второй половине XIX в. приводит И. Щеглов. Провинциальная труппа режиссера Блажевича сыграла пьесу (ровно в полночь) по просьбе игумена монастыря для монахов. Финал комедии произвел на них «потрясающее впечатление трагедии». Исключительность обстановки передалась актерам («точно мы <...> собрались священнодействовать в какой-нибудь старинной мистерии!»). После представления старец-иеромонах благословил присутствовавшего на церковной службе Блажевича: «Памятуй, сын мой, в сердце своем П о л у н о ч н о г о Р е в и з о р а и благоустрой душевный град свой, ибо никто не ведает ни дня, ни часа, егда Он възгрядет взыскать содеянное: Все мы — смиренные работнички на ниве Божией, и на разных путях земных служим единой славе Творца Нашего Небесного!»¹⁴. Этот ряд свидетельств можно завершить размышлениями исследователя литературы: «Если поверить Гоголю и начать читать или смотреть на сцене комедию “Ревизор”, имея в уме и в сердце Гоголевскую идею <...> то комедия, несомненно, превратится в трагедию совершенно необыкновенного рода»¹⁵.

Однако ни сама комедия, ни автокомментарии к «Ревизору» не помогли прояснить публике смысл новой творческой позиции Гоголя и его создания, а между тем писатель шел дальше по избранному пути, и замыслы его новых книг во многом определялись образным строем непонятого «Ревизора»¹⁶. Именно в этой логике

¹³ Бухарев Ф. Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. СПб., 1860. С. 145.

¹⁴ Щеглов И. Подвижник слова. Новые материалы о Гоголе. СПб., 1909 (глава «Полночный Ревизор»).

¹⁵ Андреев И. М. Очерки по истории русской литературы XIX века. N. Y., 1968. С. 128.

¹⁶ Попутно замечу, что финальное столкновение с Белинским зарождалось фактически с самого начала рецепции Гоголя. Принимая Гоголя и его изображение «самой жизни, как она есть» в статье 1835 г. и говоря затем о «глубоком проникновении в сущность жизни» в статье «Русская литература в 1841 г.», Белинский ограничивал и «саму жизнь», и ее сущность узкореалистическим пониманием, в котором не было места для фантастического и религиозно-мистического, символично-аллегорического способа проникновения в «сущность жизни». Гоголь как объявленный глава «реального» направления изначально не совпадал ни с ее теорией, ни с ее практикой.

и контексте появляются «Мертвые души», «Выбранные места из переписки с друзьями», гоголевские письма-комментарии к «Мертвым душам», «Авторская исповедь», разъясняющая «Выбранные места...». Все они направлены к тому, чтобы возвести читателя через буквальный смысл к смыслу духовному, преодолеть издержки поверхностного чтения. В письмах Гоголя постоянно звучат жалобы на непонимание либо превратное понимание его поэмы. Это проблема соотношения смыслов, существующих в автономных измерениях культуры — светской и духовной. Гоголь пытается сделать грандиозный шаг — снять границу, разделяющую духовное и светское. В этом отношении и позиция писателя и его действия являются принципиально новым типом социокультурной и житнетворческой практики и требуют своего комментария.

«Непривычка всматриваться в постройку сочинения» критиков поэмы оборачивается, как пишет Гоголь, невозможностью постигнуть «внутренний дух» сочинения (VIII, 288). Поэтому в письмах к разным адресатам он обращает внимание на то, что его произведения нужно читать пристально и не единожды (это подчеркивали и современники), чтобы проникнуть в их «внутренний дух», в то, что сокрыто за буквальностью смысла. Но самое интересное, что этот принцип понимания духовного, внутреннего смысла он проецирует не только на тексты художественные, но и вообще на свое «слово»¹⁷, на свою биографию, на свой поведенческий текст¹⁸. Это сквозной мотив его писем. Подобных примеров можно

¹⁷ «Но зато дайте мне все слово во все продолжение первой недели великого поста <...> читать мое письмо, перечитывая всякий день по одному разу и входя в точный смысл его, который не может быть доступен с первого разу» (XII, 218). О предыдущем письме к сестрам: «К тому же это письмо, в истинном смысле своем, осталось не понято» (XII, 219, от 1 октября 1843 г.). В письме к А. Данилевскому от 20 июня 1843 г.: «Посылаю тебе нарочно этот кусок письма твоего с тем, чтобы перечел его внимательно. Как видеть все в таком превратном смысле! <...> Что значит это непростительно **буквальное значение**, которое ты вздумал дать словам моим» (XII, 196).

¹⁸ Ср. в письме к М. Погодину от 21 октября 1843 г.: «Когда я видел <...> в каком грубом, **буквальном смысле** принимался всякий мой поступок, какое топорное значение давалось всякому моему слову — почти ужас овладевал моею душой... Ты никогда не всматриваешься во **внутренний смысл** и значение происходящих событий. **Все события**, особенно неожиданные и чрезвычайные, **суть божьи слова** к нам. Их нужно вопрошать до тех пор, пока не допросишься: что они значат, чего ими требуется от нас? Без этого никогда не сделаемся лучшими и совершеннее» (XII, 227, 229–230).

привести много и все они говорят о том, что Гоголь был озабочен пониманием «внутреннего смысла» своих поступков и своего слова, связывая их со сферой мистического. Он же сам предстает лицом, причастным высших тайн, что внутренне мотивирует его императивный тон и учительность в отношениях с другими людьми. Его восприятие и толкование мира сродни «тотальному» (по выражению С. Аверинцева) символизму средневековой культуры, для которой мир предстает как символический текст (книга), как система знаков, указывающих на мир сакральных смыслов. Таким образом, для Гоголя все является «текстом», «книгой», требующими своего прочтения. Подобным взглядом и пониманием у Гоголя, как и в учительной культуре, наделяется человек, живущий «внутренней жизнью», таков христианин, *«потому что христианство дает уже многосторонность уму»* (VIII, 277), для него *«вся вселенная <...> как одна открытая книга ученья»* (VIII, 266), и таким он хотел видеть читателей своих произведений. Только такая позиция могла открыть всю полноту и глубину авторского слова.

Гоголь наследует от религиозно-мистической культуры не только «духовный» взгляд «во вне», но и на себя и на свое творчество, автосакрализуя свою творческую личность (писатель — монах, учитель, пророк) и творческий процесс (*«Кто-то незримый пишет предо мною могущественным жезлом»*). Советы Гоголя о том, как читать его произведения и письма, совпадают с советами, как читать подлинно сакральные тексты — послания апостола Павла и др. Он осознает себя новым апостолом, носителем истины, сакрального слова: *«Властью высшею облечено отныне мое слово и горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова»*. Чтение своих писем он рассматривает как душеполезное дело, приурочивая их к церковному календарю. Автосакрализация приводит к тому, что Гоголь посылает благословения своим друзьям и даже духовным лицам. Философская критика чутко улавливала эти особенности поведения Гоголя и относилась к ним сдержанно-оценочно, как, например, К. Мочульский, бросивший: «Он доходит до кощунственного подражания словам Христа».

Таким образом, Гоголь начала 1840-х гг. принцип духовного толкования Писания последовательно проецирует на свое творчество. Началом этого рефлексивного подхода можно считать комедию «Ревизор» (особенно вторую редакцию), завершением — «Размышление о божественной литургии», совмещающим

детальное описание литургического действия с его последовательным символическим толкованием. Проекция мирского текста в религиозный ряд, ориентация на образ читателя-христианина, а не на «нейтрального» светского человека — условие восприятия, которое до Гоголя было мало знакомо читающей публике и не входило в культурный опыт светской литературы. Это принципиальный момент в судьбе Гоголя, и было бы ошибочным этот сложный процесс самореализации культуры в писателе и через писателя относить только к «страшной гордости под личиной смирения» (С. Т. Аксаков). Поэтому философская критика XX в. неизмеримо глубже и адекватнее почувствовала сложность этого процесса и явления, убедительно показав, что «духовный путь» писателя не был недоразумением (К. Мочульский). Хотя рамки религиозно-церковного восприятия критики определили острые интерпретации содержания этого пути¹⁹.

Публикация в 1842 г. первого тома «Мертвых душ» и издание сочинений в 1842–1843 гг. стали подлинным «водоразделом» в творческой истории Гоголя, обозначив границу в среде мыслящих людей, разделив читающее и литературное сообщества на противоборствующие лагеря. Наиболее известным и ярким было публичное столкновение К. Аксакова и В. Белинского в оценке и понимании «Мертвых душ», которое стало столкновением не эстетических концепций, а идеолого-философских и историософских позиций русской мысли эпохи. Спор отчетливо дооформил черты противостояния революционно-демократического лагеря и его главы — западника Белинского и либерально-демократической партии славянофилов, противоположность оценок Петербурга и Москвы. Как заметил Белинский, споры вокруг «Мертвых душ» — это «вопрос, столько же литературный, сколько и общественный».

¹⁹ К. Мочульский в «Духовном пути Гоголя» даст свое объяснение движению Гоголя 40-х гг.: «Гоголь вырос в атмосфере романтизма, с его культом сильной личности и эгоцентризмом. И в искусстве, и в философии романтизм был человекобожием. Гоголь — крайний, напряженный индивидуалист; с детских лет его ведет честолюбие, самоутверждение, славолюбие. С лицейской скамьи он повторяет: “Я послужу человечеству”, и в этой фразе ударение падает не на “человечество”, а на “я”. Поэтому посланное ему откровение вызывает в нем не смирение, а гордыню. Он и раньше чувствовал себя избранником, отмеченным особой заботой Промысла, а теперь впадает в явный соблазн: ему кажется, что он пророк, святой, почти мессия». К. Мочульский объясняет пережитый Гоголем кризис 40-го года — болезнь, страх смерти и избавление.

Критиковали Гоголя люди в общем-то талантливые: и Сенковский, и Полевой, и Булгарин — все они обладали несомненными достоинствами. В их иронии и замечаниях присутствует немало тонких и пронизательных наблюдений, от которых по инерции, заданной революционно-демократической критикой Белинского, отмахивалась вся последующая мысль о Гоголе. Острота нападок на сочинения и личность сочинителя была бы меньше, если бы не восторженные отклики и оценки друзей и почитателей Гоголя, на которых оппоненты (и не только) возложили ответственность за все происшедшее с Гоголем. Так, восторженный К. Аксаков доказывал, что в «Мертвых душах» перед нами «предстает <...> чистый, истинный древний эпос, чудным образом возникший в России <...>. Какие новые струны наслаждения искусством разбудил в нас он!», и поставил рядом с Гоголем «в отношении к акту творчества, в отношении к полноте самого создания — Гомера и Шекспира, и только Гомера и Шекспира». Гоголь не раз с раздражением вспомнит восторженный и лестный сравнением с Гомером отзыв К. Аксакова, который спровоцировал резкие, ядовитые отзывы Сенковского и Н. Полевого.

Многим критикам показалось весьма странным определение «Мертвых душ» поэмой, жанром, который ассоциировался с Байроном, с поэзией и стихом; Гоголя обвиняли при этом в излишней писательской самонадеянности. Но не только эстетика и стиль²⁰ поэмы стала предметом разборов и критики, но и само содержание, концепция русской жизни вызвала острую реакцию. Здесь особенно интересен Н. Полевой, умный и тонкий критик, которого часто осуждали за то, что он посмел поднять голос против Гоголя. Его обвинение Гоголя в «клевете не только на человека, но и на родину свою» выросло из ощущения всей мощи гоголевского зла и тотальной мертвенности, представших и в «Ревизоре», и в «Мертвых душах». Мощная суггестия гоголевской прозы несла тревогу присутствия запредельного в повседневном бытовом строе жизни, которая предстала в своем мертвелом виде.

²⁰ Будет уместно заметить, что своеобразным ответом из XX в. на упреки критиков (О. Сенковского, Н. Полевого и др.) в стиливых погрешностях, грамматических неправильностях Гоголя (от «Вечеров» до «Мертвых душ») звучат слова Андрея Белого в статье «Гоголь» о том, что «в стилистике этой отражается самая утонченная душа XIX века» и «слагается из тончайшей ювелирной работы над словом».

Он делает достаточно точные наблюдения и высказывает много интересных соображений. Гоголь, по мнению Полевого, односторонне изображает «природу и жизнь», «избирает из природы и жизни только темную сторону, выбирая из них грязь, навоз, разврат и порок», а «природа и жизнь так, как они есть, представляют нам рядом жизнь и смерть, добро и зло, свет и тень, небо и землю. Избирая в картину только смерть, зло, тень, землю, верно ли списываете вы природу и жизнь!». Потому для него Гоголь — «уголовный судья современного общества» с «превратным взглядом» на русскую жизнь, которого «восхищает всякая дрянь “итальянская”, едва коснется он не итальянского, все становится у него уродливо и нелепо!». Можно заметить, что в 1890-е гг. эту линию понимания Гоголя как художника, отобразившего идею мертвенности и мертвого, продолжит В. В. Розанов, а затем вся философско-эстетическая критика XX в. будет размышлять над антропологией Гоголя²¹, над темой зла и «идеей “мертвенности жизни”», которая «лежит в основе всего его творчества» (К. Мочульский).

Конечно, в полемике о «Мертвых душах» сталкивались не только разные эстетики, разные представления о литературе, ее художественных достоинствах, функциях, сталкивались разные представления об авторстве и писательстве. Наконец, сталкивались

²¹ Эту проблему уже в XX в. хорошо прокомментирует П. Бицилли в работе «Проблема человека у Гоголя»: «Нельзя игнорировать *двупланность* всех произведений зрелого периода гоголевского творчества. Гоголь, конечно же, гениальный сатирик-реалист, изобразитель русской “обыденщины” своего времени, но вместе с тем и антрополог, терзаемый идеей греховности, душевной пустоты *человека вообще*». Замечу, что к середине 30-х гг. Гоголь все более сосредотачивается на проблемах антропологии, на познании «природы человека вообще», как об этом он напишет в 40-е годы (VIII, 443). Поиски «ключа к душе человека» соотносятся с антропологией религиозно-учительной культуры, связывающей ее с понятием «внешний» и «внутренний человек». Динамика этого мотива совпадает с общим движением Гоголя — от изображения «внешнего человека» к познанию «внутреннего человека». В русской культуре концепты «внешний» и «внутренний человек» обрели особую актуальность во второй половине XVIII века в связи с установкой религиозной мысли на идею преобразования. Идея «внутреннего человека» в конце XVIII — первой трети XIX в. была настолько мощной, что распространялась далеко за пределы собственно религиозной культуры (см.: Гончаров С. А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. СПб., 1997. С. 145–151).

личности, со своими амбициями, со своими притязаниями на место в литературной среде.

Однако доминирующие позиции во всех этих спорах заняли те решения, к которым пришла революционно-демократическая мысль, создавшая известную формулу — «гоголевский период русской литературы». Н. Чернышевский и А. Дружинин вписали в историю литературы «гоголевский период» как самое значимое явление в развитии «реального направления» и «реализма». «Реальная критика» определяла суть творческих инициатив Гоголя по степени участия в развитии «народности», принадлежности к сатире-«обличению» и пафосу «отрицания» (Н. Добролюбов, Д. Писарев, Н. Чернышевский). «Реалисты» претендовали на самое верное понимание Гоголя: как считал Чернышевский, только «мы называем Гоголя без всяческого сравнения величайшим из русских писателей» («Очерки гоголевского периода в литературе») ²². Конечно, сторонники «реализма», как и их предшественники, примеряли писателя на себя, а потому объявили его «главой» целой школы — «единственной школы, которой может гордиться русская литература» ²³. А. Герцен в работе «О развитии революционных идей в России» своим блестящим дискурсом придал писателю уже внелитературный масштаб — вписал его в контекст развития революционных идей в России, канонизировал Гоголя как обличителя «двух его самых заклятых врагов» — чиновника и помещика. По словам Герцена, «никто и никогда до него не написал такого полного курса паталогической анатомии русского *чиновника*», и благодаря Гоголю, считал Герцен, мы увидели подлинное лицо помещного дворянства — этих «угодливых невольников власти и безжалостных тиранов своих рабов, пьющих жизнь и кровь народа». То, что раньше вызывало протест Н. Полевого, было вписано Герценом в знамя революционного обвинения с той, однако, разницей, что Н. Полевой увидел в Гоголе более глубокое отрицание — отрицание жизни и человека вообще. Надо ли напоминать о том, что в XX в. советская школа воспроизводила исключительно революционно-демократические интерпретации и герценовское толкование Гоголя, видя в нем только обличителя николаевской крепостнической России, сплошь состоящей

²² Чернышевский Н.Г. Избранные статьи. М., 1978. С. 172.

²³ Чернышевский Н.Г. Указ. соч. С. 183.

из «мертвых душ» и «безжалостных тиранов своих рабов, пьющих жизнь и кровь народа» (А. Герцен). Позднее же творчество Гоголя квалифицировалось, начиная со знаменитого письма Белинского и сарказма «реальной критики» (Н. Добролюбов, например, считал «Выбранные места...» всего лишь «книжицей назидательных советов»²⁴), как слабость и ошибка «нравовучителя» (Н. Добролюбов), отступление от творчества. Впрочем, и сегодня, уже в XXI столетии нередко можно встретить это узкоидеологическое и выпрямленное видение Гоголя.

* * *

Споры и очередное недопонимание уже поэмы Гоголя заставляют его искать новые способы и пути воздействия на граждан России, на все существо русской жизни. Ориентируясь на средневековую теорию слова и учительную практику его адептов, устанавливающих прямую связь между действенностью слова и духовностью его носителя, Гоголь свое бытовое поведение 1840-х гг. проецирует на тип древнерусского подвижника, художника-монаха, с одной стороны, и отчасти на тип «грешника» — с другой. Сознательно ориентируясь на «Подражание Христу» Фомы Кемпийского, он стремится представить современникам свой поведенческий «текст» в качестве конкретно-исторической модели, внутри которой происходит напряженное движение от «грешника» к «праведнику», от «ученика» к «учителю», от «внешнего» человека к человеку «внутреннему». Все это как бы создавало своеобразную жизненно-практическую параллель и комментарий к «Мертвым душам», закрепившись затем в литературных формах «Выбранных мест» и «Авторской исповеди». Поэтому так настойчиво звучат в письмах Гоголя заявления о своей близости к героям поэмы, об объективации в творчестве своих душевно-духовных свойств. Публичное строение себя движется параллельно с поисками особого слова, способного воздействовать непосредственно на душу читателя, пробуждающего желание быть лучше. Эти публичные заявления воспринимались современниками и последующей критикой как форма юродства писателя, выставляющего себя на посмешище.

²⁴ Добролюбов Н.А. Избранное. М., 1986. С. 240.

Гоголь делает попытку установить прямой контакт с гражданами отечества, учитывая профессиональную и сословную дифференцированность общества. Это беспрецедентный поступок светского писателя. Параллельно с работой над вторым томом «Мертвых душ» создается идеологический «экстракт» поэмы, своеобразный комментарий и ее продолжение — «Выбранные места из переписки с друзьями», построенные по типу древнего учительного сборника. Все вместе (включая «Авторскую исповедь») они образуют как бы единый текст, одну Книгу Творений Гоголя, прообраз которой можно обнаружить в средневековой культуре.

«Выбранные места» сыграли роковую роль в судьбе Гоголя и в восприятии его наследия 40-х гг. Они поставили его под удар не только давних оппонентов, но и тех, кого он считал близкими и друзьями, кого он уважал как честных людей и кому доверял. Книга вышла в свет в Петербурге 1 января, она символически открывала Новый 1847 год. «Самое лучшее, что можно сказать об ней (о книге. — С.Г.) — назвать Гоголя сумасшедшим», — писал спустя несколько недель после ее выхода С. Аксаков, один из самых близких для Гоголя людей. Через несколько дней С. Аксаков в письме к сыну Ивану пояснит свое впечатление: «Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости, а не христианского смирения <...>. Я не мог читать без отвращения печатное завещание человека живого и здорового, в каждом слове которого дышит неимоверная гордость <...> где эстамп “Преображения Господня” так и ложится рядом с его портретом»²⁵.

Очень точно определил специфику позиции Гоголя, которая не воспринималась современниками именно в ее синтетическом единстве, А. О. Россет. В письме к Гоголю от 7 февраля 1847 г. он писал: «Вы первый светский писатель выступили с решительным религиозным направлением и должны были тем сильнее поразить всех, что ваше прошлое не позволяло предполагать такого направления <...>. Вы пренебрегли <...> и тем, что у нас привыкли видеть человека, говорящего о Христе, в рясе, а не во фраке, и выступили прямо учителем»²⁶.

Но именно светский писатель с «религиозным направлением» и смутил современников, стал объектом новых, еще более

²⁵ Аксаков С.Т. Собр. соч.: В 3-х т. М., 1986. Т. 3. С. 179, 180.

²⁶ Шенрок В.И. Материалы для биографии Гоголя: В 4 т. Т. 4. М., 1892. С. 544.

острых полемических суждений. Не случайно А. Григорьев писал: «Последняя книга Гоголя составляет чуть ли не самый важный вопрос нашей литературы в настоящую минуту, не только сама по себе, но и по отношению к партиям, в которых этот вопрос нашел себе различные ответы»²⁷. Однако эти «ответы» были схожи между собой: как отметил в одном из своих писем П. Чаадаев, говоря о судьбе гоголевской книги, «все, что ни было о ней сказано <...> преисполнено какою-то странной злобой против автора»²⁸.

«Хохлацкая штука» (С. Т. Аксаков) Гоголя надолго ввергла общество в состояние всеобщего «сумасшествия» — каждый считал долгом дать оценку как лично оскорбленное лицо. Духовенство отозвалось сдержаннее, призывая Гоголя «не парадировать набожностью» (архиеп. Иннокентий (Борисов), усматривая в книге «и свет и тьму», которая она издает (свт. Игнатий (Брянчанинов), и вред, за который нужно будет Гоголю давать «ответ Богу» (прот. Матфей Константиновский) и т. д.

Редко звучали иные мнения. Хор голосов, оживленно обсуждающих «сумасшествие» и «сатанинскую гордость», не перекрыли ни оценки П. Вяземского, писавшего: «Как ни оценивай этой книги, с какой точки зрения ни смотри на нее, а все придешь к тому заключению, что книга в высшей степени замечательная. Она событие литературное и психологическое»²⁹; ни оценки П. Плетнева, назвавшего в письме к Гоголю книгу «началом собственной русской литературы». А. Григорьев в статье «Гоголь и его последняя книга» (1847) — называет «Выбранные места...» книгой «странной» и «удивительной», но пытается беспристрастно рассказать о ней читателям «Московского городского листка». Критик считал, что «Гоголь сказал слово в объяснение собственных созданий, сказал его, беспощадно обнаживши перед нами свою болезненность самого себя, всю нашу общую болезненность»³⁰. В общей атмосфере недоумений и неприязни к «Выбранным местам...» и их автору спокойный тон статьи Григорьева звучал неожиданно, что позднее отметит В. Гиппиус

²⁷ Григорьев А. Гоголь и его последняя книга // Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века. М., 1982. С. 106.

²⁸ Чаадаев П. Я. Избранные сочинения и письма. М., 1991. С. 459.

²⁹ Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 173.

³⁰ Григорьев А. Указ. соч. С. 107.

в своей книге «Гоголь» (1924), оценив работу Григорьева-критика как «печатную защиту» гоголевской книги.

Ключевое место в оценке «Выбранных мест» заняло знаменитое письмо уже умирающего Белинского, которое своим пафосом неприятия и разоблачения на долгие годы определило читательское и исследовательское отношение и к книге Гоголя, и к его духовно-творческой деятельности 40-х гг. Сам Белинский переходит на язык Гоголя и поучительно наставляет самого писателя в необходимости искупления «тяжкого греха»: «Вам должно с искренним смирением отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напоминали бы Ваши прежние». Определения Белинского звучат как удары хлыста: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов». Это одна из самых ярких драм русской истории духа. Два гениальных человека разошлись в общем стремлении преображения жизни.

И только написанные архим. Феодором (Бухаревым) в 1848 г. «Три письма к Гоголю» (опубликованы в 1860 г.) были самыми весомыми словами о творчестве Гоголя как писателя-христианина, как «мученика нравственного одиночества». Это фактически была первая интерпретация Гоголя не в узком литературном ряду, а в масштабном контексте историософских споров, который вели не только светские, но и духовные лица. Начало XX в. продолжило этот диалог и заставило взглянуть на Гоголя по-другому, увидеть в позднем творчестве не отступничество, не слабость, а цельность двойственной природы личности, трагически завершившей свой творческий путь. Философско-эстетическая мысль начала XX века (Д. Мережковский, А. Белый, В. Зеньковский, Н. Бердяев, Г. Флоровский, К. Мочульский и др.) увидела в Гоголе, каждая по-своему, фигуру необыкновенного масштаба и значимости для русской культуры в целом, для судеб русской литературы и общественной мысли.

* * *

Неоднозначность восприятия книги Гоголя связана прежде всего с необычностью культурного феномена, порожденного эпохой романтизма — произведение писателя предстает как

религиозно-духовное явление. Автор книги — мирской светский человек, не облаченный ни духовным званием, ни монашеским саном, выступает в функции церковного пастыря, что не могло не вызвать если не раздражение, то смущение и недоверие. История русской культуры, причем ближайшая (конец XVIII — первая треть XIX в.), подобного смешения функций знала. Это мощная традиция внецерковной религиозности, которая искала «истинного христианства» и проявилась, в частности, и в деятельности Сковороды, и в масонском движении, которая привела к идеям «внутренней церкви», к критике официальной церковности.

Иначе говоря, восприятие Гоголя и его книги во многом определялось историко-культурным представлением о *священстве*. Следует сказать, что история христианства уже на ранней стадии формулирует две противоположные точки зрения. Тертуллиан, например, утверждает всеобщее право на поучение: «Разве мы не все священники? Господь Иисус Христос сделал всех нас священниками Отца Небесного. Власть церкви постановила границы между священниками и мирянами. Но существенная обязанность служения Богу принадлежит неотъемлемо каждому. Разве мы не приносим и без священников жертву Ему в молитвах <...> и даже в поучениях других? Ты священник для себя и для некоторых, хотя и не для всех. Где собралось трое верующих, хотя и мирян, там и церковь»³¹. Ее разделяет и Иоанн Златоуст — один из авторитетнейших для Гоголя деятелей христианства. Эта идея затем активно развивается и обосновывается в протестанском учении, которое оказало на Гоголя влияние (о чем свидетельствует он сам). Противоположная точка зрения связывает учительство только с Церковью. К тому же к «священству» предъявляются строгие требования. Григорий Богослов в «Слове о том, как важен сан священства» даже о посвященных говорит: «...если бы кто из нас сохранил себя, даже сколько можно более чистым от всякого греха, то не знаю еще, достаточно ли и сего готовящемуся учить других добродетели», а «что же касается до самого раздаяния слова <...> то ежели кто другой приступит к делу сему с дерзновением и почитает оное доступным для всякого ума, я дивлюсь многоумию (чтобы не сказать: малоумию!) такого человека»³².

³¹ Тертуллиан. Творения. СПб., 1847. Ч. 2. С. 49.

³² Григорий Богослов. Творения. М., 1851. Т. 1. С. 25, 37.

Звучит как реплика в спорах вокруг «Выбранных мест» и очень похожа на С. Т. Аксакова.

Гоголь в этом вопросе самоопределяется с позиций Тертуллиана и Златоуста, вдохновляясь и более поздними протестанскими идеями деятельного христианства. Он обосновывает идею учительства в «Выбранных местах» не только общим христианским ее пониманием, но и особым положением писателя в русской истории, своеобразием самой русской литературы от древности до современности, ее изначальным библейским пафосом. Этот уровень обоснования подкрепляется, может быть, самым весомым аргументом — собственной, человеческой и писательской, судьбой, наполненной мистическим смыслом, а потому дающей право на «слово», вложенное в уста свыше. Не умаляя роль и значение церкви и ее пастырей («Несколько слов о нашей церкви», «О том же»), он тем не менее придает огромное значение в нравственном преобразовании общества лицам гражданским («Русский помещик», «Что такое губернаторша», «Занимающему важное место»), «начальникам» различных социальных уровней, образующих гражданскую иерархию, увенчанную монархом. Именно по этой лестнице возносится религиозное чувство любви к Богу и нисходит обратно к человеку. «Религиозная концепция власти приводит Гоголя к основной и завершающей идее его книги: к построению единой христианской культуры, к религиозному обоснованию государства и хозяйства, к полному оцерковлению мира», — писал К. Мочульский³³. Вероятно, далеко не всеми читателями разделялась идея «оцерковления мира». Слова Гоголя «*Монастырь ваш — Россия*» (а следовательно, мирянин — монах) — не только метафора, но и заключают действительное стремление писателя сблизить идеалы и нормы иноческой жизни с повседневной и мирской. В них узнаются требования Иоанна Златоуста: «и мирянину и монаху должно достигать одинаковой высоты»³⁴.

Вероятно, что категоричность и строгость, исходящие от мирского лица, вызывали не только восторг. Кроме того, идеологический эклектизм книги, вбирающей в себя подчас полярные религиозные импульсы (мистическую этику с ее сосредоточенностью на вопросах самопознания и самоусовершенствования,

³³ Мочульский К. «Выбранные места из переписки с друзьями» // Вопросы литературы. 1989. № 11. С. 120.

³⁴ Иоанн Златоуст. Творения. СПб., 1896. Т. 2. С. 323.

требующую углубленности в себя и тем самым отрешенности от мира и идеи социального христианства и др.), оттенялся ее личностным пафосом, обнажающим не умиротворенное сознание, обретшее истину, а драматически-напряженную до экзальтации и мистического гиперболизма душу писателя, на что и обратил внимание свт. Игнатий (Брянчанинов).

После появления в печати «Выбранных мест» и громких скандалов, переживая «страшную анатомию» современников «над живым телом еще живущего человека» Гоголь в этом же 1847 г. пишет «Авторскую исповедь». На первый взгляд ситуация была далекой от тех условий, которые требуют или вынуждают к публичному исповедованию. Но если учесть религиозно-жизнетворческий характер «Выбранных мест», то станет ясным, что обвинение в гордыне явилось частью более общей проблемы — связанной с правом Гоголя, «писателя, пока еще не монаха», на проповедь религиозную. И хотя он в «Выбранных местах» многосторонне обосновал это право, возникла необходимость еще одного обоснования и разъяснения. «Авторская исповедь» явилась своеобразным вариантом и «внутренним зеркалом» «Выбранных мест».

Повесть авторства раскрывает духовную биографию как историю «внутреннего строения», как путь к Христу. В отличие от исповедальных биографий, в ней нет ярко выраженного кризиса и обращения. Жизнь Гоголя предстает как незримые ступени восхождения, приближающие его к тайне человека, России и Бога, как путь самопознания и мистического откровения, приоткрывающего тайны и смысл творчества. История авторства сливается у Гоголя с историей его души, смысл и обстоятельства которой плотно окрашены мистицизмом, сакрализирующим личность автора. Не прихоть и личная воля, а предопределение и сверхличная логика направляли путь писателя, выстраивая цепь обстоятельств, иррациональная природа которых постепенно открывалась сознанию Гоголя. Поэтому он косвенно переадресовывает упреки и вопросы современников к высшей инстанции. Там, в «обстоятельствах и этом порядке, не от меня начертанном», заключены все ответы.

«Зачем <...> были такие обстоятельства <...> которые заставляли меня, против воли моей собственной, входить глубже в душу человека? <...> Зачем жажда знать душу человека так томила меня постоянно от дней моей юности? Определите мне прежде, зачем все это произошло, и тогда спрашивайте: зачем я не могу писать того, что писал?»

Гоголь и его рецепция — обширная сфера смыслов, находящихся друг с другом в непрестанном диалоге, который не может завершить ни одно исследование, потому что есть свой эффект этого диалога, который когда-то почувствовал В. Зеньковский: «Но все это если немного и приближает нам Гоголя, раскрывая необычное богатство тем и образов у него, то в то же время и затуманивает и лик самого Гоголя, затуманивает и его творчество»³⁵. В безмерности и бесконечности духа гения источник бесконечного слова о нем и о себе.



³⁵ Зеньковский В. Указ. соч. С. 155.